

Происшествие — текст 1 из 2

Как случилось, что я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать, не могу понять. Не мог же, в самом деле, натолкнуть меня на эти думы тот господин. Потому что эти господа так часто встречаются, что я уже привыкла к их проповедям.

Да, почти всякий из них, кроме совершенно привыкших или очень умных, непременно заговаривает об этих не нужных ни ему, ни даже мне вещах.

Сперва спросит, как меня зовут, сколько мне лет, потом, большей частью с довольно печальным видом, начнет говорить о том, что нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни? Сначала меня мучили такие расспросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.

Но вот уже две недели всякий раз, когда я невесела, то есть не пьяна (потому что разве есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?), и когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу: не отвязываются эти тяжелые думы; одно средство забыть уйти куда-нибудь, где много народа, где пьянствуют, безобразничают. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь... Тогда легче. Отчего прежде этого не бывало, с самого того дня, как я махнула рукой на все?

Больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате, все время провожу одинаково, также бываю в разных Эльдорадо и Пале-де-Кристалль, и все время если и не было весело, так хоть не думалось о том, что невесело; а теперь вот совсем, совсем другое.

Как это скучно и глупо! Ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в Стрекозе (которую приносит мне один знакомый довольно часто и уж непременно, когда в ней появляется что-нибудь пикантное), и в Стрекозе я видела рисунок: посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, почтенная такая, а в другую сторону, внизу девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я вот как теперь; вторая улицу метлой метет, а третья та уж совсем отвратительная, гнусная старуха. Но только уж я не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потом в Екатериновку. На это меня хватит, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этот художник! Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава богу, ведь и я могу блеснуть где-нибудь на Невском

французским или немецким языком! И рисовать цветы, я думаю, еще не забыла, и Calipso ne pouvait se consoler du dйpart dUlysse¹ помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась дурой, набитой дурой, одна у добрых родных, уверявших, что они приютили сироту, и пылкие пошлые речи того фата, и как я сдуру обрадовалась, и всю ложь и грязь там, в чистом обществе, откуда я попала сюда, где теперь одурманиваюсь водкой... Да, теперь я стала пить даже и водку. Horreur!² закричала бы кузина Ольга Николаевна.

Да и в самом деле, разве не horreur? Но виновата ли я сама в этом деле? Если бы мне, семнадцатилетней девчонке, с восьми лет сидевшей в четырех стенах и видевшей только таких же девочек, как и я сама, да еще разных маманов, попался не такой, как тот, с прическою а la Capoule, любезный мой друг, а другой, хороший человек, то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Разве есть они, хорошие люди, разве я их видела и после и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети (почти дети четырнадцати пятнадцати лет) из хороших семейств, и старики, лысые, параличные, отжившие?

И, наконец, могу ли я не ненавидеть, не презирать, хотя я сама презираемое и презренное существо, когда я вижу среди них таких людей, как некоторый молодой немчик с вытравленным на руке, выше локтя, вензелем? Он сам объяснил мне, что это имя его невесты. Jetzt aber bist du, meine liebe, allerliebstes Liebchen,³ сказал он, смотря на меня масляными глазками, и вдобавок прочел стишки Гейне. И даже с гордостью объяснил мне, что Гейне великий немецкий поэт, но что у них, у немцев, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллер, и что только у гениального и великого немецкого народа могут рождаться такие поэты.

Как мне хотелось вцепиться в его скверную смазливую белобрысую рожу! Но вместо этого я залпом выпила стакан портвейна, которым он меня поил, и забыла все.

Зачем мне думать о своем будущем, когда я и так знаю его очень хорошо? Зачем мне думать и о прошедшем, когда там нет ничего, что могло бы заменить мою теперешнюю жизнь? Да, это правда. Если бы мне предложили сегодня же вернуться туда, в изящную обстановку, к людям с изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталась бы умирать на своем посту.

Да, и у меня свой пост! И я тоже нужна, необходима. Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. Это наш философ, наш русский философ, говорил

он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы клапаны для общественных страстей... И слова гадкие, и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти клапаны.

Впрочем, недавно и мне пришла в голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который приговорил меня к пятнадцати рублям штрафа за неприличное поведение в общественном месте.

В ту самую минуту, когда он читал решение, причем все встали, я подумала вот что: За что вся эта публика так презрительно смотрит на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность; но ведь это должность! Этот судья тоже занимает должность. И я думаю, что мы оба...

Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. В моей голове все перемешалось: и та скверная зала, где я сегодня вечером буду бесстыдно плясать, и Литовский замок, и эта скверная комната, в которой можно жить только пьяной. В висках у меня стучит, в ушах звон, в голове все куда-то скачет и несется, и я сама несусь куда-то. Мне хочется остановиться, удержаться за что-нибудь, хоть за соломинку, но у меня нет и соломинки.

Лгу я, есть она у меня! И даже не соломинка, а быть может, что-то понадежнее, но я сама до того опустила, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору.

Кажется, это случилось в конце августа. Помню, тогда был такой славный осенний вечер. Я гуляла в Летнем саду и там познакомилась с этой опорой. Этот человек не представлял ничего особенного, кроме разве какой-то добродушной болтливости. Он рассказал мне чуть не о всех своих делах и знакомых. Ему было двадцать пять лет, звали его Иваном Ивановичем. Собою он был ни дурен, ни хорош. Он болтал со мною, как с каким-нибудь знакомым, рассказывал даже анекдоты о своем начальнике и объяснил мне, кто у них в департаменте на виду.

Он ушел, и я забыла о нем. Через месяц он, однако, явился. И явился пасмурный, печальный, похудевший. Когда он вошел, я даже немного испугалась незнакомого, нахмуренного лица.

Вы меня помните?

В эту минуту я вспомнила его и сказала, что помню.

Он покраснел.

Я потому думал, что вы не помните, что ведь много...

Разговор пресекся. Мы сидели на диване; я в одном углу, он в другом, как будто в первый раз выехал с визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндр в руках держал. Сидели мы довольно долго; наконец он приподнялся и поклонился.

Так до свиданья-с, Надежда Николаевна, произнес он со вздохом. Как вы узнали мое имя? закричала я, вспыхнув. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгения.

Я крикнула на Ивана Ивановича так сердито, что он даже испугался. Ведь я ничего дурного, Надежда Николаевна... Я ни одному человеку... А я знаком с Петром Васильевичем, участковым, так он мне рассказал о вас все, как было. Я хотел сказать вам: Евгения, да язык не послушался, и я ваше настоящее имя произнес.

Да вы скажите, зачем вы пришли ко мне?

Он молчал и печально смотрел мне в глаза.

Для чего? продолжала я, все разгораясь. Какой интерес я представляю для вас? Нет, вы лучше не ходите ко мне; знакомства я с вами вести не буду, потому что у меня нет знакомых. Я знаю, зачем вы пришли ко мне! Вас заинтересовал рассказ этого полицейского. Вы подумали: вот редкость образованная девушка в какую жизнь попала... Вы вздумали спасти меня? Подите от меня, мне ничего не нужно! Оставьте меня лучше издыхать одну, чем...

Тут я взглянула на его лицо и остановилась. Я видела, что била его каждым словом. Он не говорил ничего, но один вид его заставил меня замолчать. До свиданья, Надежда Николаевна, сказал он. Очень жалею, что огорчил вас. И себя тоже. До свиданья.

Он протянул мне руку (я не могла не дать ему своей) и вышел медленными шагами. Я слышала, как он спускался по лестнице, и видела в окно, как он, согнув шею, перешел через двор какою-то медленною и качающеюся походкою. У ворот он оглянулся, посмотрел на мои окна и исчез.

И вот этот-то человек может быть моей опорой. Стоит мне только заикнуться, и я сделаюсь законной женой. Законною женою бедного, но благородного человека, и даже сделаюсь бедною, но благородною родительницею, если только господь во гневе своем еще пошлет мне ребенка.

Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса (франц.).²Ужас!

(Франц.)³Но теперь, моя милая, ты мне всех милых милей (нем.).

Сегодня Евсей Евсеич говорит мне:

Вы послушайте меня, Иван Иванович, что вам я, старик, скажу. Вы, батюшка, недельно вести себя стали: смотрите, как бы до начальства не дошло!

Он еще долго говорил (стараясь говорить о самой сути дела обиняками) о службе, чинопочитании, о нашем генерале, обо мне и, наконец, начал добираться и до моего несчастья. Мы сидели в трактире, куда Надежда Николаевна часто заходит со своими знакомыми.

Евсей Евсеич все давно заметил и давно уже вытянул от меня многие подробности. Не мог я удержать глупого языка, разболтал все, да притом еще чуть не разревелся.

Евсей Евсеич рассердился.

Ах, вы, бабень, бабень, вы чувствительный! Молодой человек, хороший чиновник, из-за дряни какую историю развел! Да плюньте вы на нее! Да что вам до нее за дело? Добро бы девица благопристойная, а то, с позволения сказать...

Евсей Евсеич даже плюнул.

После этого случая он часто возвращался к предмету своих огорчений (Евсей Евсеич искренне огорчается за меня), но уже не ругался, потому что заметил, что это мне неприятно. Впрочем, он мог сдерживать себя недолго и, хотя сначала старался заговаривать издалека, но в конце концов всегда приходил к одному заключению, что надо бросить, наплевать и тому подобное.

Я и сам сочувствую, строго говоря, тому, что он твердит мне каждый день.

Сколько раз и я думал тоже, что нужно бросить и наплевать! Да, сколько раз! И столько же раз после таких мыслей выходил из дому, и ноги несли меня в ту улицу... И вот она идет, нарумяненная, с насурмленными бровями, в бархатной шубке и щегольской котиковой шапочке прямо на меня; и я сворачиваю на другую сторону, чтобы она не заметила моих преследований. Она доходит до угла и поворачивает назад, нагло и гордо смотря на прохожих и иногда заговаривая с ними; я слежу за нею с другой стороны улицы, стараясь не терять ее из вида, и безнадежно смотрю на ее маленькую фигурку, пока какой-нибудь... мерзавец не подойдет к ней, не заговорит. Она отвечает ему, она поворачивается и идет с ним... И я за ними. Если бы дорога была утыкана острыми гвоздями, мне не было бы больнее. Я иду, не слыша ничего и не видя ничего, кроме двух фигур...

Я не смотрю себе под ноги и около себя и иду, выпуча глаза, натыкаясь на прохожих, получая замечания, ругательства и толчки. Один раз я опрокинул ребенка...

Они поворачивают направо и налево, входят в калитку: сначала она, потом он: почти всегда из какой-то странной вежливости он дает ей дорогу. Потом и я вхожу. Против двух окон, хорошо мне знакомых, стоит сарай с сеновалом; на сеновал ведет легкая железная лесенка, кончающаяся площадкою без перил. И сижу я на этой площадке и смотрю на спущенные белые занавески...

Сегодня я тоже стоял на своем странном посту, хотя на дворе порядочный мороз. Озяб я ужасно, ног не слышал под собою, а все-таки стоял. Пар шел от моего лица, усы и борода обмерзли, ноги начали цепенеть. По двору ходили люди, но не замечали меня и, громко разговаривая, проходили мимо. С улицы

доносилась пьяная песня (веселая эта улица!), какая-то перебранка, стук скребков о панель, которую чистили дворники. Все эти звуки шумели в моих ушах, но я не обращал на них внимания, как и на мороз, щипавший лицо, и на озябшие ноги. Все это: и звуки, и ноги, и мороз было как будто далеко-далеко от меня. Ноги ныли сильно, но внутри меня что-то ныло еще сильнее. У меня нет сил пойти к ней. Знает ли она, что есть человек, который счел бы за счастье сидеть с нею в одной комнате и, не касаясь даже руки ее, только смотреть ей в глаза? Что есть человек, который кинется в огонь, если это поможет ей выйти из ада, если бы она захотела выйти? Но она не хочет... И я до сих пор не знаю, почему она не хочет. Ведь я не могу поверить, что она испорчена до мозга костей; не могу я поверить этому, потому что знаю, что это не так, потому что знаю ее, потому что люблю, люблю ее...

Лакей подошел к Ивану Ивановичу, который положил локти на стол и на локти лицо и изредка вздрагивал, и стал трогать его за плечо:

Господин Никитин! Так нельзя-с... При всех... Хозяин забранит. Господин Никитин! Здесь нельзя, чтоб таким родом. Извольте вставать!

Иван Иванович поднял голову и посмотрел на слугу. Он вовсе не был пьян, и слуга понял это, как только увидел его печальное лицо.

Это, Семен, ничего. Это так. Ты вот дай мне графинчик очищенной.

С чем прикажете?

С чем? С рюмкой. И побольше, чтобы не графинчик, а графин. Вот тебе, получи за все и еще возьми два двугривенных. Через час отправишь меня домой на извозчике. Ты ведь знаешь, где я живу?

Знаю-с... Только, сударь, как оно это?..

Он, очевидно, недоумевал: подобный случай представился ему в первый раз за все время его долголетней практики.

Нет, постой, я лучше сам.

Иван Иванович вышел в переднюю, оделся и, выйдя на улицу, завернул в торговое заведение, на низком окне которого ярко блестели освещенные газом разноцветные ярлыки бутылок, аккуратно и со вкусом уложенных в подстилку из мха. Через минуту он вышел, неся в руках две бутылки, дошел до своей квартиры, которую нанимал в меблированных комнатах Цукерберг, и запер за собой дверь на ключ.

Я опять забылась и опять проснулась. Три недели ежедневного шатанья! Как я только выношу это! Сегодня у меня болит голова, кости, все тело. Тоска, скука, бесцельные и мучительные рассуждения. Хоть бы пришел кто-нибудь! Как будто в ответ на ее мысль, в передней зазвенел звонок. Дома Евгения? Дома, пожалуйста, ответил голос кухарки. Неровные, торопливые шаги простучали по коридору, дверь распахнулась, и в ней появился Иван Иванович.

Он вовсе не был похож на того робкого и застенчивого человека, который приходил сюда же два месяца назад. Шляпа набекрень, цветной галстук, уверенный, дерзкий взгляд. И при этом шатающаяся походка и сильный винный запах.

Надежда Николаевна вскочила с места.

Здравствуй! начал он. Я к тебе пришел.

И он сел на стул у двери, не сняв шляпы и развалясь. Она молчала, молчал и он. Если бы он не был пьян, она бы нашла, что сказать, но теперь она потерялась. Пока она думала, что ей делать, он опять заговорил.

Ннда! Вот я и пришел... Имею право! вдруг бешено закричал он и вытянулся во весь рост.

Шляпа упала с его головы, черные волосы в беспорядке падали на лицо, глаза сверкали. Вся его фигура выражала такое бешенство, что Надежда Николаевна испугалась на минуту.

Она попробовала говорить с ним ласково:

Слушайте, Иван Иванович, я очень буду рада вашему приходу, только идите теперь домой. Вы выпили лишнее. Будьте так добры, голубчик, идите домой. Приходите, когда будете здоровы.

Струсил! пробормотал будто про себя Иван Иванович, опять усаживаясь на стул. Укротилась! Да за что ты меня гонишь? опять отчаянно завопил он. За что? Пить-то ведь я из-за тебя начал, ведь трезвый был! Чем ты тянешь меня к себе, скажи ты мне?

Он плакал. Пьяные слезы душили его, текли по лицу и попадали в рот, искривленный рыданиями. Он едва мог говорить.

Ведь другая за счастье бы сочла избавиться от этого ада. Работал бы я как вол. Жила бы ты беззаботно, спокойная, честная. Говори, чем я заслужил от тебя ненависть?

Надежда Николаевна молчала.

Что ты молчишь? закричал он. Говори! Говори, что хочешь, только скажи что-нибудь. Пьян я это верно... Не пьяный не пришел бы сюда. Знаешь ты, как я боюсь тебя, когда я в здравом уме? Ведь ты меня в узелок связать можешь. Скажешь: украдь украду. Скажешь: убей убью. Знаешь ли ты это? Наверно, знаешь. Ты умная, ты все видишь. Если не знаешь... Надя, родная моя, пожалей меня!

И он на коленях ползал перед нею по полу. А она неподвижно стояла у стены, облокотясь на нее закинутою головою и заложив руки за спину. Ее взор был устремлен на какую-то одну точку пространства. Видела ли она что-нибудь, слышала ли что? Что она чувствовала при виде этого человека, валявшегося у нее в ногах и просившего у нее любви? Жалость, презрение? Ей хотелось

жалеть его, но она чувствовала, что не может жалеть. Он возбуждал в ней только отвращение. И мог ли возбуждать он иное чувство в этом жалком виде: пьяный, грязный, униженно молящий?

Он уже несколько дней как бросил ходить на службу. Пил каждый день. Найдя утешение в вине, он стал меньше следить за своею страстью и все сидел дома и пил, собираясь с силами, чтобы пойти к ней и сказать все. Что он должен был сказать ей, он и сам не знал. Скажу все, открою душу, вот что мелькало в его пьяной голове. Наконец он решился, пришел, начал говорить. Даже сквозь туман похмелья он сознавал, что говорит и делает вещи, вовсе не возбуждающие к нему любви, и все-таки говорил, чувствуя, что с каждым словом все ниже и ниже куда-то падает, все туже и туже затягивая петлю на своей шее.

Он говорил еще долго и бессвязно. Речь становилась все медленнее и медленнее, и наконец его опьяневшие, опухшие веки сомкнулись, и, откинув голову назад на спинку стула, он заснул.

Надежда Николаевна стояла в прежней позе, бесцельно глядя куда-то в потолок и барабанила пальцами по обоям стены.

Жалко мне его? Нет, не жалко. Что я могу сделать для него? Выйти за него замуж? Да разве я смею? И разве же это не будет такую же продажу?

Господи, да нет, это еще хуже!

Она не знала, почему хуже, но чувствовала это.

Теперь я по крайней мере откровенна. Меня всякий может ударить. Разве я мало терплю оскорблений? А тогда! Чем я буду лучше? Разве не будет тот же разврат, только не откровенный? Вот он сидит сонный, и голова отвалилась назад. Рот раскрыт, лицо бледное, как у мертвого. Платье на нем выпачканное: должно быть, валялся где-нибудь... Как он тяжело дышит...

Иногда даже хрипит... Да, но ведь это пройдет, и он опять будет приличным, скромным. Нет, тут не то! А мне кажется, что этот человек, если я дам ему над собою верх, замучает меня одним воспоминанием... И я не вынесу. Нет, пусть я останусь тем, что есть... Да ведь и недолго уж оставаться.

Она набросила себе на плечи накидку и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Иван Иванович проснулся от стука, посмотрел вокруг себя бессмысленными глазами и, найдя, что на стуле спать неудобно, с трудом добрался до постели, повалился на нее и заснул мертвым сном. Он проснулся с головной болью, но трезвый, уже поздно вечером и, увидя, где он находится, тотчас же убежал.

Я вышла из дому, сама не зная, куда пойду. Погода была скверная, день пасмурный, темный; мокрый снег падал на лицо и руки. Гораздо лучше было бы сидеть дома; но можно ли мне теперь сидеть там? Он совсем погибает. Что мне делать, чтобы поддержать его? Могу ли я изменить свои отношения к нему? Ах, все в моей душе, вся моя внутренность горит. Я не знаю сама,

почему я не хочу воспользоваться случаем бросить эту ужасную жизнь, освободиться от кошмара. Если бы я вышла за него? Новая жизнь, новые надежды... Разве то чувство жалости, которое я все-таки чувствую к нему, не может перейти в любовь?

Ах, нет! Теперь он готов лизать мои руки, а тогда... тогда он придавит меня ногою и скажет: А! ты еще сопротивлялась, презренная тварь! Презирала меня!

Скажет ли он это? Я думаю, что скажет.

Есть у меня одно средство спастись, избавиться отличное, на которое я уже давно решилась и к которому, наверно, в конце концов прибегну, но мне кажется, что теперь еще рано. Слишком я молода, слишком много чувствую в себе жизни. Жить хочется. Хочется дышать, чувствовать, слышать, видеть; хочется иметь возможность хоть изредка взглянуть на небо, на Неву.

Вот и набережная. Громадные здания с одной стороны, а с другой почерневшая Нева. Скоро тронется лед, река будет голубая. Парк на той стороне зазеленеет. Острова также покроются зеленью. Хоть и петербургская, а все-таки весна.

И вдруг вспомнилась мне моя последняя счастливая весна. Была тогда я девочкой семи лет, жила у отца и матери в деревне, в степи. За мною присматривали мало, и я бегала, где хотела и сколько хотела. Помню, как в начале марта у нас по степным оврагам побежали, зашумели реки талой воды, как потемнела степь, какой удивительный стал воздух, такой сырой и отрадный. Обнажились сперва вершины бугров, зазеленела на них травка. Потом и вся степь зазеленела, хоть в оврагах еще лежал умиравший снег. Быстро, в несколько дней, точно из-под земли, совсем готовые, выскочили, выросли кустики пионов, и на них пышные ярко-пурпуровые цветы.

Жаворонки начали петь...

Господи, что я сделала такого, что еще при жизни меня следовало бросить в ад? Разве не хуже всякого ада то, что я переживаю?

Каменный спуск ведет прямо к проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотреть на воду. Но ведь еще рано? Конечно, рано. Я подожду еще.

А все-таки хорошо было бы стать на этот скользкий, мокрый край проруби. Так сама бы скользнула. Только холодно... Одна секунда и поплывешь под льдом вниз по реке, будешь безумно биться об лед руками, ногами, головою, лицом.

Интересно знать, просвечивает ли туда дневной свет?

Я стояла над прорубью неподвижно и долго и уже дошла до того состояния, когда человек ни о чем не думает. Я давно промочила себе ноги, а не двигалась с места. Ветер был не холодный, но пронизывал меня насквозь, так что я вся дрожала, а все-таки стояла. И не знаю, сколько бы времени продолжалось это оцепенение, если бы с набережной кто-то не закричал мне:

Эй, мадам! Сударыня!

Я не обертывалась.

Сударыня, пожалуйста на панель!

Кто-то сзади меня начал спускаться по лестнице. Кроме шарканья ног по посыпанным песком ступеням, я слышала еще какой-то тупой стук. Я обернулась: спускался городской, стучала его шашка. Увидев мое лицо, он вдруг изменил чинное выражение своей физиономии на грубое и дерзкое, подошел ко мне и дернул за плечо:

Убирайся вон отсюда, дрянь ты этакая. Шляетесь везде! Сунешься сдуру в прорубь, потом отвечай за вас, за шельмов!

Он узнал по моему лицу, кто я.

Все то же и то же... Нет возможности ни минуты остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сделать с собою, чтобы забыть?

Аннушка принесла мне письмо. Откуда оно? Я так давно не получала ни от кого писем.

Милостивая государыня, Надежда Николаевна! Хотя я очень хорошо понял, что для вас не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая девушка и не захотите обидеть меня. В первый и последний в жизни раз я прошу вас быть у меня, так как сегодня мои именины. Родных и знакомых у меня нет. Умоляю вас, приходите. Даю вам слово, что я ничего не скажу вам обидного или неприятного. Пожалейте преданного вам

P. S. О своем недавнем поведении в квартире вашей не могу вспомнить без стыда. Будьте же у меня сегодня в 6 часов. Прилагаю адрес. И. Н.

Что это значит? Он решился написать ко мне. Тут что-нибудь не совсем просто. Что он хочет сделать со мною? Идти или нет?

Странно рассуждать идти или не идти? Если он хочет заманить меня в западню, то или для того, чтобы убить, или... но если и убьет, все же развязка. Пойду.

Я оденусь попроще и поскромнее, смою с лица румяна и белила. Ему все-таки будет приятнее. Причешу попроще голову. Как мало у меня осталось волос! Я причесалась, надела черное шерстяное платье, черный шарфик, белый воротничок и рукавички и подошла к зеркалу взглянуть на себя.

Я чуть не заплакала, увидя в нем женщину, совсем не похожую на ту Евгению, которая так хорошо пляшет скверные танцы в разных притонах. Я увидела вовсе не нахальную, нарумяненную кокотку, с улыбающимся лицом, с ухарски взбитым шиньоном, с наведенными ресницами. Эта забитая и страдающая женщина, бледная, тоскливо смотрящая большими черными глазами с темными кругами вокруг, что-то совсем новое, вовсе не я. А может быть,

это-то и есть я? А вот та Евгения, которую все видят и знают, та что-то чужое, насадившее на меня, давящее меня, убивающее.

И я действительно заплакала и плакала долго и сильно. От слез легче становится, как твердили мне с самого детства; только, должно быть, это справедливо не для всех. Не легче мне стало, а еще хуже. Каждое рыдание болью отзывалось, каждая слеза горька. Тех, кому есть еще какая-нибудь надежда на исцеление и мир, тех слезы, быть может, и облегчают. А где она у меня?

Я вытерла слезы и отправилась.

Я без труда нашла номера мадам Цукерберг, и чухонка-горничная показала мне дверь к Ивану Ивановичу.

Можно войти?

В комнате раздался стук быстро задвигаемого ящика,

Войдите! быстро закричал Иван Иванович.

Я вошла. Он сидел у письменного стола и заклеивал какой-то конверт. Мне он даже как будто и не обрадовался.

Здравствуйте, Иван Иванович, сказала я.

Здравствуйте, Надежда Николаевна, ответил он, вставая и протягивая мне руку.

Что-то нежное мелькнуло у него на лице, когда я протянула ему свою, но тотчас же и исчезло. Он был серьезен и даже суров.

Благодарю вас, что пришли.

Зачем вы звали меня? спросила я.

Боже мой, неужели вы не знаете, что значит для меня видеть вас! Впрочем, этот разговор для вас неприятен...

Мы сидели и молчали. Чухонка принесла самовар. Иван Иванович подал мне чай и сахар. Потом поставил на стол варенье, печенье, конфеты, полбутылки сладкого вина.

Вы извините меня за угощение, Надежда Николаевна. Вам, быть может, неприятно, но не сердитесь. Будьте добры, заварите чай, налейте. Кушайте: вот конфеты, вино.

Я стала хозяйничать, а он сел против меня так, что его лицо оставалось в тени, и принялся рассматривать меня. Я чувствовала на себе его постоянный и пристальный взгляд и чувствовала, что краснею.

Я на минуту подняла глаза, но сейчас же опять опустила, потому что он продолжал серьезно смотреть мне прямо в лицо. Что это значит? Неужели эта обстановка, скромное, черное платье, отсутствие нахальных лиц, пошлых речей подействовали на меня так сильно, что я опять превратилась в скромную и конфузливую девочку, какой была два года тому назад? Мне стало досадно.

Скажите, пожалуйста, что вы выпучили на меня глаза?.. выговорила я с усилием, но бойко.

Иван Иваныч вскочил и заходил по комнате.

Надежда Николаевна! Не говорите так грубо. Побудьте хоть час такую, как вы сюда пришли.

Но я не понимаю, зачем вы меня позвали. Неужели только за тем, чтобы молчать и смотреть на меня?

Да, Надежда Николаевна, только за этим. Вам ведь это особого огорчения не сделает, а мне утешение в последний раз на вас посмотреть. Вы были так добры, что пришли, и в этом платье, такую, как теперь. Я этого не ждал и за это вам еще больше благодарен.

Но отчего же в последний раз, Иван Иваныч?

Я ведь уезжаю.

Куда?

Далеко, Надежда Николаевна. Я вовсе сегодня не именинник. Я так это, не знаю сам почему, написал. А мне просто хотелось еще раз на вас посмотреть. Хотел я сначала пойти и ждать, когда вы выйдете, да уж как-то решился просить вас к себе. И вы были так добры, что пришли. Дай вам бог за это всего хорошего.

Мало хорошего впереди, Иван Иваныч.

Да, для вас мало хорошего. Впрочем, ведь вы сами знаете лучше меня, что для вас впереди... Голос Ивана Иваныча задрожал. Мне лучше, прибавил он, потому что я уеду.

И его голос задрожал еще более.

Мне стало невыразимо жалко его. Справедливо ли все то дурное, что я чувствовала против него? За что я так грубо и резко оттолкнула его? Но теперь уже поздно сожалеть.

Я встала и начала одеваться. Иван Иваныч вскочил как ужаленный.

Вы уже уходите? взволнованным голосом спросил он.

Да, надо идти...

Вам надо... Опять туда! Надежда Николаевна! Да давайте я лучше убью вас сейчас!

Он говорил это шепотом, схватив меня за руку и смотря на меня большими, растерянными глазами.

Ведь лучше? Скажите!

Да ведь вам, Иван Иваныч, за это в Сибирь идти. Я вовсе не хочу этого.

В Сибирь!.. Разве я оттого не могу убить вас, что Сибири боюсь? Я не оттого...

Я не могу вас убить потому, что... да как же я убью вас? Да как же я убью тебя? задыхаясь, выговорил он. Ведь я...

И он схватил меня, поднял, как ребенка, на воздух, душа в объятиях и осыпая поцелуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И так же внезапно, как внезапно это случилось, поставил меня на ноги и быстро заговорил:

Ну, идите, идите... Простите меня, но ведь это в первый и последний раз. Не сердитесь на меня. Идите, Надежда Николаевна.

Я не сержусь, Иван Иванович...

Идите, идите! Благодарю, что пришли.

Он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ. Я стала спускаться с лестницы. Сердце ныло еще больше прежнего.

Пусть он едет и забудет меня. Останусь доживать свой век. Довольно сентиментальничать. Пойду домой.

Я прибавила шага и думала уже о том, какое платье надену и куда отправлюсь на сегодняшний вечер. Вот и кончен мой роман, маленькая задержка на скользком пути! Теперь покачусь свободно, без задержек, все ниже и ниже.

Да ведь он теперь стреляется! вдруг закричало что-то у меня внутри. Я остановилась как вкопанная; в глазах у меня потемнело; по спине побежали мурашки, дыхание захватило... Да, он теперь убивает себя! Он захлопнул ящик это он револьвер рассматривал. Письмо писал... В последний раз... Бежать!

Быть может, еще успею. Господи, удержи его! Господи, оставь его мне!

Смертельный, неиспытанный ужас охватил меня. Я бежала назад как безумная, налетая на прохожих. Не помню, как я взбежала по лестнице.

Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня, помню длинный темный коридор со множеством дверей, помню, как я кинулась к его двери. И когда я схватилась за ее ручку, за дверью раздался выстрел. Отовсюду выскочили люди, бешено завертелись вокруг меня, вместе с коридором, дверьми, стенами... И я упала... и в моей голове тоже все завертелось и исчезло.